

# СЕРГЕЙ ЧУПРИНИН

## ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Тринадцать портретов, девять пейзажей и два  
автопортрета

*Серия «Диалог»*

В эту пеструю, как весенний букет, книгу вошли и фундаментальные историко-литературные работы, и мемуарные очерки, и «сердитые» статьи о том, как устроена сегодняшняя российская словесность, известный критик, главный редактор журнала «Знамя», как и положено, внимательно разбирает художественные тексты, но признается, что главное для него здесь – не строгий филологический анализ, а попытка нарисовать цельные образы писателей, ни в чем друг на друга не похожих, понять логику и мистику их творческого и жизненного пути. Вполне понятно, что в этой галерее портретов и пейзажей находится место и автопортретам, так что перед нами – самая, может быть, исповедальная и самая «писательская» книга Сергея Чупринина.

## ОТ АВТОРА

Эта книга вызывающе антифилологична.

Ведь для филолога что главное?

Слова на бумаге. Произведение. Текст.

И еще раз: текст.

Все остальное – жизнь писателя, его миропонимание и свойства личности, обстоятельства времени и места – филологу интересно лишь в той степени, в какой они проявились в тексте и что-то в нем объясняют.

А мне интересны прежде всего сами писатели. И литература предстает для меня не миром произведений, но миром писателей. Их расхождений и сближений, их увлечений и причуд, их предрассудков и фобий. Их характеров.

На вопрос, что же самое важное за шестьдесят с лишним лет узнал я о жизни, я обычно отвечаю: то, что люди – очень разные.

И писатели тоже.

Литературное произведение при таком взгляде открывается не как самоценный перл творения, но как всего лишь одно из проявлений суверенной и неповторимой личности автора, как производное от вот именно что обстоятельств времени и места.

Это для филолога неправильно. И, может быть, даже непрофессионально.

Но почему бы мне не быть неправильным?

«Как овечка черной шерсти, я не зря живу свой век – оттеняю совершенство безукоризненных коллег».

На этом месте по этикету компьютерного века должен появиться смайлик. Вот он: :))

А дальше можно опять почти всерьез. «Признательные показания» – никакая не монография с «длинной мыслью», а сборник статей, писавшихся в разные годы и по разным поводам. Пестрых – словно мир писателей, мир литературы.

Тем, надеюсь, и интересных.

Как проявление суверенной и неповторимой:) личности их автора, как производное от обстоятельств времени и места, в какие нам выпало жить.

Словом, признательные показания, как и было сказано.

# ПОРТРЕТЫ

## РАЗНОЧИНЕЦ: НИКОЛАЙ УСПЕНСКИЙ

Когда в ночь на 21 октября 1889 года Николай Васильевич Успенский перерезал себе горло тупым перочинным ножом подле одного из домов Смоленского рынка, где ютился нищенствующий московский люд, солидные литературные журналы никак не откликнулись на кончину писателя, а издания помельче проводили его в последний путь то ли сокрушенным вздохом, то ли риторическим вопросом:

«Многие ли из современной публики, не говорим уже, читали, но хотя бы слышали об этом писателе?» («Новости», 1889, № 295).

На риторические вопросы отвечать не принято. Но задуматься о страдальческой участи «одного из первых и крупнейших народных писателей» России, как назвал Успенского И. А. Бунин, наверное, стоит даже сейчас – спустя сто с лишним лет со дня его смерти.

Как в самом деле могло свершиться падение таланта, отмеченного и поддержанного в начале творческого пути и Н. А. Некрасовым, и И. С. Тургеневым, и Л. Н. Толстым? Почему русской общественностью так скоро забылось даже имя писателя, чья первая книжка вызвала заинтересованно-сочувственный отзыв Ф. М. Достоевского и послужила поводом для знаменитой статьи Н. Г. Чернышевского «Не начало ли перемены?»? Отчего и в двадцатом веке произведения Успенского переиздаются с перерывом в несколько десятилетий (1931 – 1957 – 1987 гг.), а в литературной табели о рангах ему отведено предельно скромное место второ-, если не третьеразрядного беллетриста народнической школы?

Все эти вопросы, как мы увидим, теснейшим образом увязаны друг с другом, но для удобства рассмотрения полезно отставить пока собственно литературную, творческую сторону дела и сосредоточиться на личности Успенского, которого Чернышевский в 1861 году с полным правом именовал «любимцем» публики и к которому спустя уже десять лет навеки пристал сомнительный титул «когда-то знаменитого, а ныне почти всеми позабытого» («Дело», 1872, № 1, с. 7) писателя.

Есть мнение, что всеми своими – и литературными, и житейскими – бедами Николай Васильевич Успенский был обязан исключительно самому себе, вернее, своей дурной наследственностью, скверному воспитанию и ужасному характеру.

Мнение небезосновательное. К. И. Чуковский, подробнее, чем кто-либо, исследовавший биографию Успенского, с понятной горечью замечает, что все ближайшие родственники писателя, родившегося в многодетной и полунищей семье сельского священника, были беспросветными пьяницами, а отец его матери и брат отца к тому же еще и душевнобольными. Сам Николай Васильевич с детства страдал лунатизмом и с детства же пристрастился к выпивке, хотя, по сообщению И. А. Бунина – другого биографа Успенского, – «пить начал Н. В. уже лет под сорок, то есть, разумеется, пить “как следует”».

Что ж тут долго рассказывать про домашнее воспитание на основах патриархальной нравственности, если отец всеми правдами и неправдами отлынивал от забот о хозяйстве и благополучии семьи, мать охотно наделяла детвору водкой, и привычной средой обитания явилась для малолетнего попovichа помещичья челядь, донельзя развращенная праздностью и холуйством.

«Нельзя, да и не надо говорить, – вспоминает мемуарист, – о растлении его души с ранних лет в поповской среде, где он родился и жил и которую, увы, любил все время, любил ее безбожество и все то, что известно под наименованием “жеребьячья порода”; издевался над свинским житьем этой пьяной, сластолюбивой, жадной до плотских удовольствий поповской толпы, но все-таки любил быть здесь из удовольствия издеваться над ней, любоваться распутством».

Процесс «растления души» незаурядного, как можно предположить, мальчугана с успехом продолжался в почти непрерывной для деревенских поповичей семинарии, нравы которой, хорошо известные читателям по хрестоматийным «Очеркам бурсы» Н. Г. Помяловского, во всей своей каннибальской красе оживают и на страницах автобиографического рассказа «Декалов» самого Успенского. Розги, водка, карты, взяточничество, угодничество и наущничество, тайный разврат при показном благочестии, процветавшие в тульской семинарии, развили в смышленном, хотя и на редкость скверно учившемся Николке привычку к

грубому шутовству, скандальному «балаганству», сохранившуюся вплоть до самой смерти, вскормили в нем – и это, пожалуй, главное – чувство лютой обиды на весь мир и прежде всего на тех, кому в жизни выпала – или казалось, что выпала, – более легкая доля.

Особенную, чуть не до ненависти, злость и завистливое раздражение вызывал у дерзкого бурсака двоюродный брат Глеб, которому посчастливилось родиться в обеспеченной семье тульского палатского секретаря, пользоваться отцовским выездом и отцовскими связями, учиться в гимназии и т. д. и т. п. Годы, десятилетия пройдут, прежде чем неизжитая досада выплеснется в воспоминаниях Николая Васильевича о Глебе Ивановиче, который и на писательском-то поприще оказался «удачливее» своего двоюродного брата:

«Мое отрочество и детство Глеба Ивановича Успенского, – с чисто семинарским “витийством” и подпирающим под самое горло сарказмом пишет автор книги “Из прошлого”, – представляло собою два радиуса, центром которых служил нам общий дедушка, пономарь Чернского уезда, имевший счастье принимать в своей скромной хижине И. С. Тургенева. Направления упомянутых радиусов выражались в том, что я, несмотря ни на какие метеорологические пертурбации, совершал путешествие в семинарию пешком, а юный Глеб Иванович ездил в гимназию на щегольской пролетке и прилежно учился, ежедневно отдавая строгий отчет о своих успехах родителю; я всячески старался уклониться от слушания лекций семинарских профессоров и возвращался из рассадника благочестия в свою квартиру, встречаемый известием кухарки, что руководители моего умственного и нравственного развития все, без исключения, разошлись по трактирам. Глеб Иванович, как ученик, был образцом трудолюбия и прилежания, а мое имя было синонимом упорной лени, не поддающейся никаким мерам, в числе которых первенствующее место занимала экзекуция...»

Николай Успенский оказался действительно неподдающимся или, как сказали бы сейчас, «запущенным», «трудным» подростком. Семинарию он бросил, едва дотянув до богословского класса, и отправился... нет, не в тульский трактир, как того следовало бы ожидать, и не в родное Ступино Чернского уезда Тульской губернии, а в петербургскую Медико-хирургическую академию.

Что влекло его в столицу, в среду молодой, бурно проявляющей себя разночинной интеллигенции? Стремление вырваться из убогого до омерзения, до тошноты поповско-

бурсацкого круга? Надежда начать новую жизнь, «послужить России»? Пробуждающийся литературный талант, что сказался пока только в сумбурно-гаерских записях в памятной книжке?

Ответа нам не будет. Но известно, что, не проучившись в академии даже года (о том, в каких ужасающих условиях шла учеба, как трудно было нищим студентам сводить концы с концами, смотри рассказ «Брусиллов», опять-таки автобиографический), Успенский бросил и ее, свой разрыв с мечтами о высшем образовании и докторской карьере ознаменовав дичайшею, вот именно что бурсацкою выходкой: препарировав руку трупа, он изрезал ее на куски, изломал выданные ему инструменты, разбросал их по палате – и ушел. Куда ушел? Зачем? Почему? Были собраны на экстренное совещание профессора академии, и... святотатца изгнали из ее стен с позором.

Вот тут бы, казалось, уже и концу наступить; призрак «нищевродства», кабацкого ухарства и буйства, всего того, что к рубежу веков станут называть «босячеством», замаячил перед Николаем Успенским все грознее и все определеннее. Но тороватая судьба готовила ему новый и, как выяснилось позднее, последний жизненный шанс.

Еще студентом академии он напечатал два рассказа «из русского простонародного быта» в еженедельном журнальчике «Сын отечества», издававшемся при ближайшем участии пережившего свой «звездный час», но все еще популярного Барона Брамбеуса (О. И. Сенковского). Рассказы эти, набранные самым мелким журнальным шрифтом и даже без указания фамилии автора, прошли абсолютно не замеченными как публикой, так и критикой. Да и денег, надо думать, безвестный новичок получил самую малость.

С третьим рассказом – это было «Хорошее житье» – Успенский направился поначалу в «Отечественные записки», редактировавшиеся в ту пору С. Дудышкиным, но там нашли, что, как вспоминал позднее писатель, «язык слишком народен и непонятен для публики...». Оставалась последняя – слабая – надежда на «престижный» некрасовский «Современник», прославленный именами Тургенева, Толстого, Дружинина, Григоровича, Чернышевского, Добролюбова...

Успенский явился к Некрасову – и был обласкан сверх всяких ожиданий, сверх всякой меры. «Хорошее житье» и при бавленный к нему «Поросенок» тут же были отправлены в типографию, причем Некрасов распорядился печатать их

самым крупным шрифтом на первых страницах ближайшего журнального тома. Автору был назначен вполне приличный для дебютанта гонорар, а через год с ним заключили условие, чтобы он сотрудничал исключительно с одним «Современником», и за это, кроме гонорара, ему обязались платить ежемесячно по пятьдесят рублей, что, как говорят, было достаточно для более или менее безбедного проживания в столице.

Началась самая светлая полоса в жизни Успенского. Его рассказы и очерки, на которых едва чернила успевали просохнуть, незамедлительно шли в печать, и «сам» Добролюбов уже через пару лет настойчиво рекомендовал пополнить хрестоматию для юношества произведениями двадцатитрехлетнего писателя («Современник», 1860, № 4). И «сам» Чернышевский многократно беседовал с новым для журнала автором, а затем посвятил его творчеству обширную, программной значимости статью («Современник», 1861, № 11). И «сами» Тургенев, Толстой, Григорович – первые писатели эпохи и к тому же аристократы, люди «света» – одарили поповского сына знакомством, лестным своей короткостью. И «сам» Некрасов – когда Успенскому пришла охота продолжить образование на историко-филологическом факультете Петербургского университета – обратился к бывшему тогда ректором Плетневу с просьбой назначить стипендию «очень талантливому», «обещающему много в будущем» студенту. Успенский, правда, поучился в университете по обыкновению недолго, но Некрасов и тут не оставил его своим попечением.

«Однажды, в трескучий зимний мороз, – вспоминал впоследствии Успенский, – я пришел к Некрасову, чтобы передать ему один из своих очерков. С знаменитым поэтом сидел известный ветеран-беллетрист Д. В. Григорович.

– Знаете, что я вам посоветую, Успенский, – начал Николай Алексеевич, – поезжайте-ка за границу.

– Да на какие же средства?

– У вас есть прекрасные средства...

– Правда, правда, – произнес бархатным баритоном Дмитрий Васильевич.

– Средства эти, – продолжал Некрасов, – ваши рассказы... Их в «Современнике» напечатано так много, что из них выйдет довольно солидный томик. Я издам их в свет, а вам дам денег на путешествие, которое для вас будет очень полезно... В Париже



теперь живет Тургенев, в Ницце Добролюбов, во Флоренции Боткин, автор «Писем об Испании». Если хотите, мы вас снабдим письмами к ним».

Одним словом, жизненные и литературные блага сыпались на Успенского как из рога изобилия. Оставалось вроде бы только благодарить судьбу, сведшую начинающего писателя с кругом «Современника», радикально-демократической и либеральной творческой интеллигенции.

Но не таков, совсем не таков был Николай Васильевич Успенский, чтоб только благодарить или пользоваться случаем для расширения своего культурного кругозора. Вернувшись из-за границы, где он, судя по его же письмам поэту К. К. Случевскому, провел около года, не столько знакомясь с прославленными красотами Рима и Парижа, сколько созерцая «свеженькие юпочки» гризеток, Успенский тут же устроил Некрасову дикий скандал, обвиняя его в «спекуляторстве» и нечестности денежных расчетов. При этом, стремясь заручиться поддержкой Чернышевского, умудрился и его грубо задеть, так что, спустя всего два месяца после выхода прославившей Успенского статьи «Не начало ли перемены?», Чернышевский вынужден был потребовать от своего недавнего «любимца» формальных извинений.

Извинения Чернышевскому были принесены. Но в свей распре с Некрасовым – абсолютно, как показал, основываясь на архивных материалах, К. И. Чуковский, немотивированной и безусловно оскорбительной для чести издателя «Современника», – Успенский не унимался, настаивая на «третейском суде», понося своего «благодетеля» везде, где его только соглашались слушать.

И, естественно, был безжалостно выброшен из круга «Современника». Вернее, вышел все-таки из него сам, с треском хлопнув дверью, подобно тому, как это несколькими годами ранее случилось в Медико-хирургической академии.

Не спрашивайте, что было пружиной затеянного Успенским и убийственного для него же самого скандала. Водка ли виновата («В это время он уже пьянствовал так, что редко бывал в трезвом виде», – пишет К. И. Чуковский), писательское ли самомнение, махровым цветком распутившееся в атмосфере дружественных похвал и покровительствования, фанаберия ли «нигилиста из бурсаков», отроду не знакомого с чувством меры или хотя бы

с чувством края, – бог весть. Важно то, что именно на самом крутом подъеме творческого пути, когда будущее казалось безоблачным и ум теснили дерзкие литературные планы<sup>[1]</sup>,

«вдруг он, – по словам К. И. Чуковского, – сорвался и полетел словно в яму, безостановочно, покуда не очутился на дне».

Поначалу, конечно, о «дне» и помину не было. «Подверстав» свой сугубо денежный раздор с Некрасовым к недавно завершившемуся процессу идейного размежевания писателей – либералов и «аристократов» с «Современником»<sup>[2]</sup>, Успенский на первых порах был, с одной стороны, поддержан в материальном отношении Толстым и Тургеневым, а с другой, с распростертыми объятиями принят во враждебных Чернышевскому изданиях («Искра», «Отечественные записки», «Русский вестник», позднее «Вестник Европы»).

Но что же из этого вышло? Решительно ничего хорошего. Толстой тогда же, в 1862 году, пригласил Успенского учителем в яснополянскую школу и перепечатал у себя в журнале его рассказ «Хорошее житье». Но Успенский в Ясной Поляне надолго не задержался, на прощание нахамив, по своему обыкновению, гостеприимному хозяину и далеко окрест разнеся сплетни о его «барских причудах».

Еще хуже обернулось дело с Тургеневым, который безвозмездно предоставил Успенскому в своем Спасском несколько десятин земли, чтобы тот жил, не нуждаясь и спокойно занимаясь писательством. Но Успенский и там не усидел («...Скука одолела меня... – жаловался он впоследствии. – А была осень... Вокруг моей хижины бушевал порывистый ветер и завывали волки...»), пожил сначала в Петербурге вместе с Глебом Успенским, помыкался потом там и сям и наконец, неожиданно вернувшись в Спасское, задумал продать выделенный ему участок земли в чужие руки. Уговоры одуматься, усовеститься результата не имели, и Тургеневу пришлось заплатить Успенскому за свою же собственную землю, и только тогда тот выехал из Спасского, «осыпая, – по свидетельству мемуариста, – Ивана Сергеевича бранью, говорил, что Тургенев его надул, что он отнял у него то, что было подарено ему»...

Литературные дела тоже довольно скоро разладились. Стоило поддержавшим Успенского умеренно-либеральным в ту пору «Отечественным запискам» заявить, что в своих

новых рассказах писатель становится наконец-то «чистым художником» и тенденция уже не берет у него перевеса над формой, как «Современник» тут же подверг «отступника» и «перебежчика» уничтожающей критике, весьма сурово оценив и новые вещи Успенского, и старые – те самые, что так охотно печатались «Современником» прежде и на его же страницах были широко распропагандированы Чернышевским. «Отечественные записки», конечно, воспользовались поводом обвинить орган радикальной демократии в «партийной» кастовости, лицемерии и цинизме, но «Современник» стоял на своем, и его влияния на просвещенную публику было вполне достаточно, чтобы за Успенским закрепились не только прозвища «человеконенавидца» (в этическом плане) и «ренегата» (в плане идеологическом), но и репутация бесталанного беллетриста-фотографа «с крошечным куриным мирозерцанием и крошечной куриной наблюдательностью».

Террор общественного мнения не знал пощады, росли, надо думать, и болезненные наклонности самого Успенского, так что вся его жизнь в семидесятые и восьмидесятые годы превратилась в непрерывную вереницу унижений, скандалов, «балаганств», все новых и новых ударов судьбы. Выдержав экзамен на звание учителя русского языка и словесности, он пытается преподавать, но всякий раз срывается и в итоге, без разрешения дирекции покинув Первую московскую военную гимназию задолго до окончания учебного года, едва не оказывается под военным судом – за «дезертирство» и невыплату выданных ему денежных средств. Он уже в конце семидесятых годов по страстной любви женится на шестнадцатилетней поповне, и тут же погрязает в раздорах с тестем из-за приданого, а когда жена, кочевавшая с ним из деревни в деревню, погибает, Успенский берет гармошку, чучело крокодила и двухлетнюю дочь, чтобы ради рюмки петь и плясать с нею в трактирах и в трактирах же за деньги рассказывать биографии знаменитых русских писателей.

Глядя на отснятые во время путешествия по заграницам фотографии щеголеватого, красивого молодого Успенского, больно сравнивать их со свидетельствами мемуаристов о распухом от пьянства, лохматобородом старике в арестантской овчинной бекеше, которому каждый случайный собутыльник мог «закатать в шею».

Да вот, пожалуйста, – приведенное И. А. Буниным повествование лобановского кабатчика об Успенском в последние годы его беспокойной жизни:

«Известно, – бродяга был. Чудной какой-то. Он, может, там и ученый был, только мы этому не верили. Какое же, к примеру, ученье, когда шлялся нищесбродом? Раз пришел ко мне. Мы с женой сидим, чай пьем. “Дай, пожалуйста, чайку стаканчик”. – “Нету, говорю, весь уже выпили”. – “Ну, хоть стаканчик!”

“Да нету же. – Зло меня даже взяло. – Не заваривать же для тебя”.

“Ну, хоть теплой водицы из самовара; дай, ради Бога – душа пересохла”.

“Это, говорю, дело другое. Авось не жалко”. Налил ему стакан воды. Так, поверите, затрясся, – глотает, обжигается. Потом говорит: “Дай водочки”. – “Да у меня не кабак”. – “Да ведь знаю, говорит, торгуешь”. – “Ну, а знаешь, – деньги давай”. – “Денег нету”. – “Ну, и водки нету”. – “Так возьми, говорит, что-нибудь”. – “А что у тебя?” – “Возьми штаны”. Поглядел я штаны эти, а там вместо штанов опоясая одни остались. На кой они мне черт. – “Ну, возьми гармонию. Я потом выкуплю”. Дал я ему за гармонию четверть. Он тут же всю ее с мужиками и выпил. Хорошо. Только дня через два – становой ко мне. Что такое? Оказывается, это все Николай Василич обработал. Подал заявление, что мы водкой без патента торгуем и гармонию у него отняли. Да ведь как оборудовал! Совсем я было пропал, да следовательно хороший попался. Рассказал я ему при свидетелях, что он гармонию мне подарил – ну и выпутался почти. Следовательно даже поругал его. “Бродяга, говорит, ты! Как же ты можешь напраслину возводить на человека?” И действительно попутал его Бог. Зарезался, слава Богу, как пес какой...».

И все-таки, как ни красноречивы эти подробности, еще большее, пожалуй, думать о писательском, общественном падении Успенского. Критика, с середины шестидесятых годов подвергшая писателя остракизму за «измену» прогрессивным идеалам, позднее вообще перестала о нем упоминать, а если и вспоминала, то с гадливой уничижительностью<sup>[3]</sup>. Новые книги, собрания сочинений Успенского почти не расходились, и Тургенев уже в 1868 году не без удовлетворения говорил в одном из писем о «фиаско... насчет продажи сочинений Успенского». Солидные литературные журналы один за другим закрывались перед писателем, талант которого и в самом деле шел на убыль, и Успенский, побывав в иллюстрированных

«Будильнике», «Сиянии», «Ниве», «Осколках», под конец жизни докатился до ультрареакционного, охотнорядского «Развлечения», где и помещал свои оскорбительные, полные сплетен и пасквильных выдумок мемуары, которые вызвали резкий протест общественности и даже пресловутым В. Бурениным были названы на страницах «Нового мира» циничной ложью.

Что же в итоге?

Итог известен: «Зарезался, слава Богу, как пес какой...». И пожалел о нем, окончательно запятнав тем самым память о писателе-демократе, только известный своим крайним мракобесием князь В. П. Мещерский.

«Умерший писатель, принадлежавший, как известно, к консервативному лагерю... – указывал князь с притворным состраданием, – не был служителем либеральной музыки, не был писателем, изливающим либерально-народнические lamentации, – поэтому он умер нищим, голодным и холодным в стране, где существует Литературный фонд, в громадном городе, где издается несколько газет и журналов. Двери последних были закрыты для покойного. Еще бы! Он не принадлежал к той либеральной клике, которая не прочь проводить до кладбища гроб человека, ею же уморенного голодом».

## 2

А теперь нам придется вернуться к самому началу и в другом, что ли, аспекте поговорить о писателе, навлекшем на себя великие беды ввиду собственного несносного характера и собственной неблагодарности.

Только ли в них дело? Или, может быть, корень в том, что Успенский с годами действительно отрекся от идеалов вольнолюбивой юности, предал заветы радикально-демократического лагеря, переметнувшись в стан «охранителей» и ура-патриотов, вроде князя Мещерского или сотрудников «Развлечения»?

Выпущенные в конце 1980-х годов однотомники избранных произведений Успенского позволят, я думаю, современному читателю убедиться в том, что, изменяясь, конечно, в частности, в деталях, мировосприятие и творческая манера писателя в целом и главным сохранили удивительную устойчивость. И в «Егорке-пастухе», и в «Народном печальнике», и в «Небывалом случае», и в других произведениях, созданных в семидесятые годы, Успенский по сути тот же, что и в «Хорошем житье», «Змее», «Сельской

аптеке», печатавшихся в «Современнике» и прославленных «Современником». Тот же, во всяком случае, насмешливый, злоязыкий юмор. Та же точность бытовых примет и речевых характеристик. То же тяготение к гротеску, к сатирической гиперболизации «свинцовых мерзостей» российской действительности второй половины XIX века.

И та же беспощадная, безыллюзорная правдивость.

Вот в ней-то, кажется, а совсем не в присочиненном «ренегатстве», – существо писательской драмы Николая Успенского. Недаром ведь Чернышевский, начав свою знаменитую статью 1861 года с вопроса:

«Чем г. Успенский привлек внимание публики, за что он сделался одним из любимцев ее?» —

так ответил сам себе:

«Нам кажется, что причиною тут не одна бесспорная талантливость, – мало ли было произведений, написанных с талантом и все-таки не возбуждающих ни малейшего участия к себе? Есть у г. Успенского другое качество, очень сильно нравящееся лучшей части публики. Он пишет о народе правду без всяких прикрас».

В чем же состоит эта «правда без всяких прикрас»? В том, что, по глубокому убеждению Успенского, российское крестьянство в массе своей, за вычетом немногих исключительно даровитых натур, то ли не вышло еще из состояния первобытной дикости, то ли замордовано уже до полной идиотичности, до выправления хотя бы рудиментарных признаков умственной, духовной и нравственно-культурной жизни. Его интересы, как утверждает писатель, всецело связаны с мечтами о том, как бы прокормиться, и, еще в большей степени, что бы такое из домашнего скарба снести кабатчику в обмен на косушку или осьмушку «очищенной». Любовь в этой среде сплошь и рядом сводится к грубому блюду, набожность – к варварским суевериям, а художественный инстинкт проявляет себя разве только в пьяных песнях да рассказах о шатающихся по ночам мертвецах. И – никаких перспектив, никаких порываний к лучшей доле; те мужички, что описаны Успенским, сами отволокут любого «смутьяна» или «агитатора» к становому, с враждебной опасливостью

относясь даже к тем из деревенских, кто, подобно героине рассказа «Колдунья», попытается своим трудом, своими силами выбиться из застарелой нужды.

Под стать мужикам и сельские «интеллигенты», если это слово, даже взяв его в иронические кавычки, можно применить к приказчикам и священникам, причетникам и фельдшерам, прасолам и целовальникам. Разница лишь та, пожалуй, что тут еще явственнее сказывается «жеребьячья порода», виднее развращенность, скудоумие, кичливость, нагляднее тяга к накопительству. Попадают, конечно, в общей массе и те, кто посмышленее, побойчее, но их активность, лишенная какого бы то ни было нравственного стержня, направлена исключительно на то, чтобы разбогатеть, «окулачиться» – за счет нещадно спаиваемых крестьян (рассказ «Хорошее житье») или за счет столь же нещадно объегориваемых «господ» (повесть «Федор Петрович»).

А сами «господа» – как дореформенные, так и пореформенные? Прочтите «Деревенскую газету» и «Из дневника неизвестного», «Федора Петровича» и «Сашу», «Деревенский театр» и «Издалека и вблизи», «Родственное свидание» и «Небывалый случай» – разве под наносным слоем «благовоспитанности» и «просвещенности», пусть даже на прогрессистский манер, не торжествуют в точности такие же развращенность, апатия, недомыслие, что и в простонародной среде, только тут эти качества выглядят еще гаже, ибо они породнены с праздностью, сытостью и бесконтрольным своеволием?..

А теперь попробуем вообразить, как эти «очерки народного быта» читались публикою, чьи представления о крестьянах были связаны с Антоном-Горемыкой Григоровича, Хорем и Калинычем Тургенева, с дворовыми людьми, о которых рассказывали Аксаков в «Семейной хронике» в «Детских годах Багрова-внука», Толстой в автобиографической трилогии. Какие ощущения испытывала публика, понимая, что в кругу описанных Успенским хоботовых, загвоздкиных и галкиных не приживутся, да и не могут прижиться, ни рудины, ни лаврецкие, ни иртеньевы?..

Шок – вот слово, которое приходит на ум, когда знакомишься с откликами современников на первые публикации Николая Успенского (они, заметим кстати, вообще были едва ли не первым словом писателей-разночинцев в русской литературе – произведения Слепцова

появились в «Современнике» лишь в 1862 году, Помяловского, Левитова и Решетникова – в 1864-м, а Глеба Успенского – в 1865-м).

Достоевский в статье, специально посвященной «Рассказам» 1861 года, мог, конечно, указывать, что Успенский, как верный описыватель народного быта, «явился после Островского, Тургенева, Писемского и Толстого» и потому «цена ему теперь совсем не та». Но Достоевский же и признавал, что, если предшествовавшие Успенскому «замечательные писатели» «заявили в литературе сознательно новую мысль высших классов общества о народе», то в произведениях Успенского народ едва ли не впервые, может быть, сам сказал о себе правду, и правда эта была такая, что «хуже всякой лжи». Во всяком случае, она резко контрастировала и с крепостническими иллюзиями насчет богобоязненных, преданных престолу и господам, трудо- и чадолюбивых мужичков, которым под барскою опекой гораздо уютнее, покойнее, чем на постылой воле. И с призывами Льва Толстого учиться у крестьянских детей нравственности и подлинной культуре. И с надеждами на скорую крестьянскую революцию, которая принесет стране конституционные свободы. И с распространенным в обществе мнением о том, что русский народ уже созрел для деятельности на социально-историческом поприще.

От соблазна обвинить Успенского в «неправдивости», в сознательном искажении истины о народе критики на первых порах воздержались: слишком силен был вызываемый его рассказами «эффekt присутствия», слишком велико доверие к знанию жизни, непринужденно продемонстрированному молодым писателем. Зато с характерной для русской общественно-литературной традиции непременностью тут же возник вопрос: зачем? Зачем писатель из народа так оскорбительно, с такими душераздирающими подробностями, с такою будто бы даже озлобленностью – вот, мол, вам, и еще, и еще! – говорит о народе? Что он хочет этим сказать? К чему призывает?..

«Старуха», «Поросенок», «Змей», «Обоз» никак вроде бы не поддавались однозначной идеологической интерпретации в категориях «левизны» – «правизны», «прогрессивности» – «реакционности», и в первых же отзывах критики писатель, заподозренный в «общественном индифферентизме», был зачислен в разряд бытописателей-фотографов, с холодным и бесстрастным равнодушием фиксирующих «мелочи жизни»,



не умея, по словам А. М. Скабичевского, при этом «отличить глубоко раздирающего стона бедняка от уличного крика пьяницы».

«Он приходит, например, на площадь, – сердито писал об Успенском и Достоевский, – и, даже не выбирая точки зрения, прямо, где попало, устанавливает свою фотографическую машину. Таким образом все, что делается в каком-нибудь уголке площади, будет передано верно, как есть. В картину войдет, естественно, и все совершенно ненужное в этой картине или, лучше сказать, в идее этой картины. Г-н Успенский мало об этом заботится... Если б из-за рамки картины проглядывал в это мгновение кончик коровьего хвоста, он бы оставил и коровий хвост, решительно не заботясь о его ненужности в картине».

Применительно к писательской манере Успенского характеристика, данная Достоевским, в общем-то справедлива. Предвосхищая позднейшие эксперименты писателей-натуралистов (а начиная с Чехова – и реалистов) по детализированному, мнимо бесстрастному воспроизведению «мелочей жизни», по «граммофонному», как выразился Корней Чуковский, способу записи и передачи живой разговорной речи, Успенский действительно кое в чем отступил от традиций высокой русской классики с ее преимущественным вниманием к психологическому миру личности, с ее «указующим перстом», нацеленным в самую сердцевину общественного бытия, с ее, наконец, поистине завораживающим искусством соединять «поэзию и правду» в пределах емкого и цельного художественного образа.

### 3

По части «поэзии» Успенский, незачем скрывать, заметно уступает своим великим современникам, но разве, спросим впрямую, одной только «правды» – чистой, беспримесной, не офальшивленной грубой тенденциозностью – мало для того, чтобы писателю было воздано должное – пусть не как врачевателю и исцелителю общественных язв, но хотя бы как их безжалостному диагносту?

Выходит, мало. «Правда» Николая Успенского о забитом, притерпевшемся к своим несчастьям, бездеятельном и бездуховном простонародье только раз пришлось ко времени: на рубеже пятидесятых – шестидесятых годов, когда общественное мнение было наэлектризовано толками об освобождении крестьянства и когда публицисты

«Современника», поддерживаемые революционно настроенной молодежью, били во все колокола, надеясь разбудить народную волю и народный гнев.

Вот тогда-то Некрасов и схватился за безыскусные, казалось бы, «очерки народного быта». Вот тогда-то идеолог радикальной демократии Чернышевский и написал свою знаменитую статью, воспользовавшись рассказами Успенского как поводом к разговору, как материалом, свидетельствующим о том, что крестьянская масса уже доведена до крайнего отчаяния и что нужно лишь поднести зажженный фитиль, чтобы рванули пороховые погреба слежавшейся за века классовой ненависти.

Энергично доказывая эту мысль, Чернышевский, не вдаваясь, впрочем, в эстетические тонкости, оспорил почти все упреки, которые предъявлялись (да и впоследствии будут предъявляться) автору «очерков народного быта». Писатель искусственно принижает и тем самым унижает своих героев? Вот уж, по мнению критика, неверно: заслуга Успенского как раз

«в том, что он говорит о мужиках без церемоний, как о людях, которых он сам считает и читатель его должен считать за людей, одинаковых с собою, за людей, с которыми можно говорить откровенно все, что замечаешь о них».

Писатель, не скрывая темных и «низких» сторон крестьянского быта и патриархальной морали, говорит «о народе бог знает что, жестоко оскорбляющее нашу сантиментальную симпатию к нему»? И правильно делает, ибо вошедшее в либеральную привычку идеализирование мужика, по словам Чернышевского, действительно «прекрасно и благородно, – в особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза из этого – народу», – и не полезнее ли вскрыть гнойники беспощадным скальпелем, чем покрывать их сусальным золотом?..

И последний упрек – в том, что Успенский выводит на первый план не героев, не яркие в своей нравственной неординарности натуры, а, что называется, «серую скотинку».

Чернышевский поначалу вроде бы соглашается: да, среди персонажей Успенского почти исключительно «люди дюжинные, люди бесцветные, лишенные инициативы», – но затем и этот факт оборачивает к выгоде для писателя: в том-то и существо дела, что даже

Конец ознакомительного фрагмента.  
Приобрести книгу можно  
в интернет-магазине  
«Электронный универс»  
[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)